

2012 год

Потьма, крошечная потьма. Три тридцать утра – и ни одна собака не гавкнет, поезд в одиночку настукивает мимо, мимо. Огнями значатся солёных тюрем ассорти: мужских, женских, для малолетних и для иностранцев, – выбирай – не хочу. Дубравлаг, поселение Явас... любил, – думается Учайкину, – любовь ещё быть может... приедем – вот и посмотрим, может или нет. А ей что делать в Саранске – (для неё, при случае, и женская подойдёт, и для иностранцев) – финка, как и положено, холодный блонд. Белозубая, тонкокостная, запястья сплошь в цветных фенечках. В три тридцать утра не спит – работает за ноутбуком, в своём одиночном СВ, любезно пригласила Учайкина и начальницу поезда.

*

Сарафьян ляной. Вылизанный солнцем, стягивает его через голову. Когда-то Учайкин видел, как при пожаре белые пластиковые рейки изворачивались и танцевали, вытягиваясь и тончая, так и она – оплавленный кусочек пластмассы – тоненькая, изгибистая. Венозный рисунок на груди её ярчал...

Хватит! – остановился бы Саша. – Что, прямо с первого же предложения?

Допустим, всё-таки со второго абзаца; но с чего же начинать повесть о Тысячелетии, не гимны же республике слагать: славься– славься, звонче-звонче, – на шестьдесят и более страниц; с их близости – наверняка так оно и было.

– Заболеешь, Саша... горячее, согрею, чтобы ты выпил это... для тебя.

– А ты знала, что мы встретимся?

– Нет, конечно.

Будь не он, а кто-нибудь другой... даже будь его отец, спитый техник Электровыпрямителя, этот прямолинейный электрокабель... она так же, чёрт подери, напоила бы его своим молоком.

Вот бы ракету! – встрепаётся Учайкин в крошечной потьме, – пустить по нашему следу, чтоб до конца. Мордовия? – ничего за ней не стоит, кроме рычащего эр. Республика Мордовиянь. Арасян, арасян, араселинь .

*

Его встречали с оркестром – это тебе Учайкин не оркестр берлинского радио, но и так хорошо. Саранской филармонии – в полном составе её духовой на платформе. А чуть поодаль и ансамбль Торама – в мордовских рубашках, с погремушками.

Но это завтра, а пока на поезд он припаздывал – успевал, но впритык, к отбытию, впрочем, как всегда, – и из туннеля метро выманивал сноп света: давай-давай, родной... давай же, паскуда, скорее... В долгожданной металлической утробе смотрел в туннель через стекло, по поверхности которого расплзлось его кривое отражение – не п р и с л о н я т ь с я – соблюдать стеклянную грань видимого-сущего. Четыре года в Москве – а даже это заснять почему-то не может, только и представлений как – с какого ракурса, с каким фокусом.

Казанский вокзал. Издалека увидел по расцветке и не обрадовался – армейцы, вся платформа они, всюду – не протолкнёшься, все около его поезда. По билету – вот что удивительно, купил перед отправлением и получил – вагон № 0, несуществующий вагон, может, и Мордовии тоже не существует, – подумалось ему, – и мордвы.

– Прикреплённых полно, ну, вы как будто нулевых не видели, два-доп из Питера прямиком, а ваш – в самом конце... с ЦСКА, да-да, счастливого пути.

Зачем только так возвращаться, продолжил бы своё брουνовское движение вокруг да около. Шебутные однокурсники по другим республикам катались, писали в ректорат: разрешите... досрочно... с такое-то по такое будем вынуждены находиться на территории республики Куба; бедные-несчастные.

Несколько секунд он ещё сомневается: плёнка, будет ли в Саранске плёнка, – да ничего там не будет, – отмыкает затвор – щелчок! – вспышка... и уже ждёт, как из чёрного квадрата фотокарточки на свет белый проявится окно поезда с красным нулём на нём. Важно ему: пусть встрепаётся всё, ощерится перед его объективом, – и если снимать, то полароидом. У него всегда по карманам снимки за последние дни, в этот

раз... Университетский фасад, озарённый холодным светом люминесцентных прожекторов. Хлебные крошки на столе студенческой столовой. Люберецкая пустыня, вся в шинных шрамах, а точно такая, – никто не знал, – есть близ Хельсинки.

– Наконец-то, до самого последнего тянули, – проводница хлопнет дверь, – уезжать не хотелось?

– Очень, – сунет он пока ещё чёрную фотокарточку в карман, – хотелось, не то слово, как хотелось, – и рассеянно улыбнётся ей, думая о другом: сфотографировал, но не сличил, вот дурень, чай-чай-учай, не успел – реальность со снимком или наоборот. А в моментальных только это и есть, но не задерживать же поезд на семь минут...

– А вещи вы не забыли?

– Я налегке.

В небольшом рюкзаке паспорт, уже виденные вами снимки, полароид, заблокированная кредитка, мелочёвка, таящаяся на самом дне, – придётся выбирать: на чай или на троллейбус... ах, да, ещё маленький ножичек, отцовский, стаченный четыре года назад, когда удирал в Москву, учиться. Пока что финке доводилось знаваться только с мельбой.

Так: паспорт, снимки, полароид, ножичек... стоп-кран, погодите, а ключи? – точно, ключей нет – от ½ комнаты сданы коменданту, а от саранской квартиры по улице Коммунистической никогда не имел – отец не доверял.

Досадно ему становится, – отец... – смутным он для него становится. Вот отец: стены оклеены газетами – ремонт, на столе бутылка самарского пива, медная решётчатая скумбрия, он – в красной фланелевой рубашке, задумчиво подперев подбородок кулаком... Или не это отец? То птицы были – давно из рогаток перестрелянные, а позже, оставшиеся, – из травматической винтовки, в тире. Вместе с отцом и перестреляны – все до одной, чтоб не вспоминалось. Той десятилетней давности – такого отца он хорошо знал, – они вместе ходили в маленький парк, покупали сушёную рыбу, хлеб, сок и по одному треугольничку плавленого сыра – эти жестяные треугольнички только появились в магазинах: круглую коробку вскрывали и продавали поштучно. Два треугольничка, им больше и не нужно для городского пикника – на два бутерброда. Они спускались в парк по безымянной набережной речки

Саранки, в парке катались вниз головами на аттракционах и до слепоты стреляли в тире. Тирщиком был мальчишка-узбек, беженец, – их тогда очень много на проходящих поездах в Саранск прибегало. Отец договорился с мальчишкой и принесил свои пульки – целую коробку мог за вечер угрохать, упорно расстреливал птиц, зайцев, волков, солдат.

После тира они возвращались на набережную, где стоял деревянный городок, искали домик с непробитой крышей, на случай дождя, и забирались по высокой лестнице – все они на этих высоченных лесенках стояли, сказочные же. Во многих домиках уже фривольно кумарили – отец их ласково и нецензурно называл, но если везло и домик оказывался пустым, то они, довольные, расстилали на скамейки газеты и усаживались лакомиться скромными припасами. Отец закуривал сигарету и точил острым взглядом неповинную Саранку. Что он в ней такого видит, что оторваться не может? – не понимал Саша. Ему оторваться легко оказалось – кровяным тромбом вверх по течению поплыть.

*

Речку вскоре перекрыли, в её осунувшейся дельте возвели фонтанов и рукоплещущую Аврору, потом перекопали, поменяли её тощее русло, Аврору свергли, берега закатали в бетон. Сказочный город исчез – шагом марш – в печь: рядом с парком сауна была и есть. Только и воспоминаний: как там крепко пьют, а потом баню закатывают. В такие места порядочным людям, наверное, стыдно возвращаться, хотя зачем вообще порядочным людям...

Возвращаться всегда тяжело и даже стыдно – после другой жизни, как после стерилизации, апостериори, пастеризованным молоком. С молоком в поезде был только паршивенький кофе три в одном – да какое там молоко, ахинея, ядохимикат. Для иностранцев – кофемашины, но на такой кофе мелочёвки не наскребёшь. Между тем, воздух в вагоне грозился позеленеть от хмельных испарений и армейских признаний.

– Отведите меня... – взгляд на бэйдж, – Анна Сергеевна, к начальнику поезда.

– Зачем? – насторожилась она, – слушайте, – молниеносно перешла на шёпот, – давайте мы никуда не пойдём, может, переночуете в моём купе?

– Вы не так... поняли... – Учайкин смеётся, – я журфака МГУ, московского... студент. Еду освещать праздник, ну, по совместительству просто домой. И вот почему бы ни начать прямо отсюда... освещать, в смысле. Тем более, весь вагон армейцы, а я как бы... за Спартак болею. Можно было б такой материал сделать: что из себя пять лет назад представлял ва... ээ... наш фирменный поезд и во что он превратился сейчас. Кофемашины, белые тапочки, приветливые проводницы...

Она задумалась; в жёлтом огне семафора, стреляющего в окна, мимолётом Учайкину померещилось: время полседьмого, а уже закат, конец лета, его первый осознанный поезд – целиком его поезд, везёт его в Москву. Листья на деревьях уже опали и жёлтыми ворохами лежат на газонах; жёлтое солнце; а ночами бывают жёлтые луны. Вагон старый, дряхлый, пахнущий кислым железом и специфической пылью, которая так и парит в воздухе, не оседая. Четыре года назад. Ехал к первому сентября.

– Хорошо, – сказала она, – я поняла.

*

– Куда она ушла?.. – финка захлопнула ноутбук и обшарила его взглядом – такая и цвет глаз высосет; мгновение – и уже улыбаясь – нет, не такая, всё хорошо.

– За чаем нам, думаю. Мы вас, правда, не потревожили?

– Я сама тебя пригласила, тебя и её, нет проблем. Мне бы хотелось много узнать.

– Да уж, мне бы тоже много чего хотелось знать... нет-нет... это я так... ничего... А вы – на праздник, работать?

Какую же глупость сварганил чай-чай-учай, раз она так рассмеялась.

– Работать на праздник, – кивнула, – но моя работа – это долго говорить, слишком долгий разговор, ночь короче. А ты?

– Тогда в следующий раз?

– Следующий раз? – повела она бровью и снова рассмеялась. – Нет, сажайтесь.